

# Воры

Фельдшер Ергунов, человек пустой, известный в уезде за большого хвастуна и пьяницу, как-то в один из святых вечеров возвращался из местечка Репина, куда ездил за покупками для больницы. Чтобы он не опоздал и пораньше вернулся домой, доктор дал ему самую лучшую свою лошадь.

Сначала погода стояла ничего себе, тихая, но часам к восьми поднялась сильная метель, и когда до дому оставалось всего верст семь, фельдшер совершенно сбился с пути...

Править лошастью он не умел, дороги не знал и ехал на авось, куда глаза глядят, надеясь, что сама лошадь вывезет. Прошло так часа два, лошадь замучилась, сам он озяб, и уж ему казалось, что он едет не домой, а назад в Репино; но вот сквозь шум метели послышался глухой собачий лай, и впереди показалось красное, мутное пятно, мало-помалу обозначились высокие ворота и длинный забор, на котором остриями вверх торчали гвозди, потом из-за забора вытянулся кривой колодезный журавль. Ветер прогнал перед глазами снеговую мглу, и там, где было красное пятно, вырос небольшой, приземистый домик с высокой камышовой крышей. Из трех окошек одно, завешенное изнутри чем-то красным, было освещено.

Что это был за двор? Фельдшер вспомнил, что вправо от дороги, на седьмой или шестой версте от больницы, должен был находиться постоянный двор Андрея Чирикова. Вспомнил он также, что после этого Чирикова, убитого недавно ямщиками, осталась старуха и дочка Любка, которая года два назад приезжала в больницу лечиться. Двор пользовался дурной славой, и заехать в него поздно вечером, да еще с чужою лошадью, было небезопасно. Но делать было нечего. Фельдшер нащупал у себя в сумке револьвер и, строго кашлянув, постучал кнутовищем по оконной раме.

— Эй, кто здесь есть? — крикнул он. — Старушка божья, пусти-ка погреться!

Черная собака с хриплым лаем кубарем покатила под ноги лошади, потом другая, белая, потом еще черная — этак штук десять! Фельдшер высмотрел самую крупную, размахнулся и изо всей силы хлестнул по ней кнутом. Небольшой песик на высоких ногах поднял вверх острую морду и завыл тонким пронзительным голоском.

Долго стоял фельдшер у окна и стучал. Но вот за забором, около дома, на деревьях зарделся иней, ворота заскрипели, и показалась закутанная женская фигура с фонарем в руках.

— Пусти, бабушка, погреться, — сказал фельдшер. — Ехал в больницу и с дороги сбился. Погода, не приведи бог. Ты не бойся, мы люди свои, бабушка.

— Свои все дома, а чужих мы не звали, — сурово проговорила фигура. — И что стучать зря? Ворота не заперты.

Фельдшер въехал во двор и остановился у крыльца.

— Вели-ка, бабка, работнику, чтоб лошадь мою убрал, — сказал он.

— Я не бабка.

И в самом деле, это была не бабка. Когда она тушила фонарь, лицо ее осветилось и фельдшер увидел черные брови и узнал Любку.

— Какие теперь работники? — проговорила она, идя в дом. — Которые пьяные спят, а которые еще с утра в Репино поуходили. Дело праздничное...

Привязывая под навесом свою лошадь, Ергунов услышал ржанье и разглядел в потемках еще чью-то лошадь и нащупал на ней казацкое седло. Значит, в доме, кроме

хозяек, был и еще кто-то. На всякий случай фельдшер расседлал свою лошадь и, идя в дом, захватил с собой и покупки и седло.

В первой комнате, куда он вошел, было просторно, жарко натоплено и пахло недавно вымытыми полами. За столом под образами сидел невысокий худощавый мужик лет сорока, с небольшой русой бородкой и в синей рубаше. Это был Калашников, отъявленный мошенник и конокрад, отец и дядя которого держали в Богалёвке трактир и торговали, где придется, крадеными лошадьми. В больнице и он бывал не раз, но приезжал не лечиться, а потолковать с доктором насчет лошадей: нет ли продажной и не пожелает ли его высокоблагородие господин доктор променять гнедую кобылку на буланого меринка. Теперь голова у него была напояжена и в ухе блестела серебряная серьга, и вообще вид был праздничный. Нахмурясь и опустив нижнюю губу, он внимательно глядел в большую истрепанную книгу с картинками. Растянувшись на полу около печки, лежал другой мужик; лицо его, плечи и грудь были покрыты полушубком — должно быть, спал; около его новых сапогов с блестящими подковами темнели дне лужи от растаявшего снега.

Увидев фельдшера, Калашников поздоровался.

— Да, погода... — сказал Ергунов, потирая ладонями озябшие колена. За шею снегу понабило, весь я промок, это самое, как хлющ. И револьвер мой, кажется, того...

Он вынул револьвер, оглядел его со всех сторон и положил опять в сумку. Но револьвер не произвел никакого впечатления: мужик продолжал глядеть в книгу.

— Да, погода... С дороги сбился и, если б не здешние собаки, то, кажется, смерть. Была бы история. А где же хозяйка?

— Старуха в Репино поехала, а девка вечерять готовит... — ответил Калашников.

Наступило молчание. Фельдшер, дрожа и всхлипывая, дул на ладони и весь ёжился, и делал вид, что он очень озяб и замучился. Слышно было, как завывали на дворе не унимавшиеся собаки. Стало скучно.

— Ты сам из Богалёвки, что ли? — спросил фельдшер строго у мужика.

— Да, из Богалёвки.

И от нечего делать фельдшер стал думать об этой Богалёвке. Деревня большая, и лежит она в глубоком овраге, так что, когда едешь в лунную ночь по большой дороге и взглянешь вниз, в темный овраг, а потом вверх на небо, то кажется, что луна висит над бездонной Пропастью и что тут конец света. Дорога ведет вниз крутая, извилистая и такая узкая, что когда едешь в Богалёвку на эпидемию или прививать оспу, то всё время нужно кричать во всё горло или свистать, а то иначе, если встретишься с телегой, то потом уж не разъедешься. Мужики богалёвские слывут за хороших садоводов и конокрадов; сады у них богатые: весною вся деревня тонет в белых вишневых цветах, а летом вишни продаются по три копейки за ведро. Заплати три копейки и рви. Бабы у мужиков красивые и сытые и любят наряжаться, и даже в будни ничего не делают, а всё сидят на завалинках и ищут в головах друг у друга.

Но вот слышались шаги. В комнату вошла Любка, девушка лет двадцати, в красном платье и босая... Она искоса поглядела на фельдшера и раза два прошлась из угла в угол. Ходила она не просто, а мелкими шажками, выпятив вперед грудь; видимо, ей нравилось шлепать босыми ногами по недавно вымытому полу и разулась она нарочно для этого.

Калашников чему-то усмехнулся и поманил ее к себе пальцем. Она подошла к столу, и он показал ей в книге на пророка Илию, который правил тройкою лошадей, несущихся к небу. Любка облокотилась на стол; коса ее перекинулась через плечо — длинная коса, рыжая, перевязанная на конце красной ленточкой, — и едва не коснулась пола. И она тоже усмехнулась.

— Отличная, замечательная картина! — сказал Калашников. Замечательная! — повторил он и сделал руками так, как будто хотел вместо Илии забрать в руки вожжи.

В печке гудел ветер; что-то зарычало и пискнуло, точно большая собака задушила крысу.

— Ишь, нечистые расходились! — проговорила Любка.

— Это ветер, — сказал Калашников; он помолчал, поднял глаза на фельдшера и спросил:

Как по-вашему, по-ученому, Осип Васильич, есть на этом свете черти или нет?

— Как тебе, братец, сказать? — ответил фельдшер и пожал одним плечом. — Если рассуждать по науке, то, конечно, чертей нету, потому что это предрассудок; а ежели рассуждать попросту, как вот мы сейчас с тобой, то черти есть, короче говоря... Я в своей жизни много испытал... После учения я определился в военные фельдшера в драгунский полк и был, конечно, на войне, имею медаль и знак отличия Красного Креста, а после Сан-стефанского договора вернулся в Россию и поступил в земство. И по причине такой громадной циркуляции моей жизни, я, могу сказать, видел столько, что другому и во сне не снилось. Случалось и чертей видеть, то есть не то чтобы чертей с рогами или хвостом — это одне глупости, а так, собственно говоря, как будто вроде.

— Где? — спросил Калашников.

— В разных местах. Нечего далеко ходить, летошний год, не к ночи он будь помянут, встретил я его вот тут, почитай, у самого двора. Ехал я, это самое, помню, в Гольшино, ехал оспу прививать. Известно, как всегда, беговые дрожки, ну, лошадь и необходимые причиндалы, да, кроме того, часы при мне и все прочее, так что еду и остерегаюсь, как бы, неровен час, не того... Мало ли всяких бродяг. Подъезжаю я к Змеиной балочке, будь она проклята, начинаю спускаться и вдруг, это самое, идет кто-то такой. Волосы черные, глаза черные, и всё лицо словно от дыму закоптело... Подходит к лошади и прямо берет за левую вожжу: стой! Оглядел лошадь, потом, значит, меня, потом бросил вожжу и, не говоря худого слова: "Ты куда едешь?" А у самого зубы оскалены, глаза злобные... Ах ты, думаю, шут этакий! "Еду, говорю, оспу прививать. А тебе какое дело?" Он и говорит: "Коли так, говорит, то привей и мне оспу". Оголил руку и сует мне ее под нос. Конечно, не стал я с ним разговаривать, взял и привил оспу, чтоб отвязаться. После того, гляжу на свой ланцет, а он весь заржавел.

Мужик, спавший около печки, вдруг заворочался и сбросил с себя полушубок, и фельдшер, к великому своему удивлению, увидел того самого незнакомца, которого встретил когда-то на Змеиной балочке. Волосы, борода и глаза у этого мужика были черные, как сажа, лицо смуглое, и вдобавок еще на правой щеке сидело черное пятнышко величиной с чечевицу. Он насмешливо поглядел на фельдшера и сказал:

— За левую вожжу брал — это было, а насчет оспы сбrehал, сударь. И разговору даже насчет оспы у нас с тобой не было.

Фельдшер смутился.

— Я не про тебя говорю, — сказал он. — Лежи, когда лежишь.

Смуглый мужик ни разу не был в больнице, и фельдшер не знал, кто он и откуда, и теперь, глядя на него, решил, что это, должно быть, цыган. Мужик встал и, потягиваясь, громко зевая, подошел к Любке и Калашникову, сел рядом и тоже стал глядеть в книгу. На его заспанном лице показались умиление и зависть.

— Вот, Мерик, — сказала ему Любка, — приведи мне таких коней, я на небо поеду.

— На небо грешным нельзя... — сказал Калашников. — Это за святость.

Потом Любка собрала на стол и принесла большой кусок свиного сала, соленых

огурцов, деревянную тарелку с вареным мясом, порезанным на мелкие кусочки, потом сковороду, на которой шипела колбаса с капустой. Появился на столе и граненый Графин с водкой, от которой, когда налили по рюмке, по всей комнате пошел дух апельсиновой корки.

Фельдшеру было досадно, что Калашников и смуглый Мерик говорили между собой и не обращали на него никакого внимания, точно его и в комнате не было. А ему хотелось поговорить с ними, похвастать, выпить, наестся и, если можно, то и пошалить с Любкой, которая, пока ужинали, раз пять садилась около него и, словно нечаянно, трогала его своими красивыми плечами и поглаживала руками свои широкие бедра. Это была девка здоровая, смешливая, вертлявая, непоседа: то сядет, то встанет, а сидя поворачивается к соседу то грудью, то спиной, как егоза, и непременно зацепит локтем или коленом.

И не нравилось также фельдшеру, что мужики выпили только по одной рюмке и больше уж не пили, а одному ему пить было как-то неловко. Но он не выдержал и выпил другую рюмку, потом третью и съел всю колбасу. Чтобы мужики не сторонились его, а приняли его в свою компанию, он решил польстить им.

— Молодцы у вас в Богалёвке! — сказал он и покрутил головой.

— Насчет чего молодцы? — спросил Калашников.

— Да вот, это самое, хоть насчет лошадей. Молодцы красть!

— Ну, нашел молодцов! Пьяницы только да воры.

— Было время, да прошло, — сказал Мерик после некоторого молчания. Только вот разве один старый Филя у них остался, да и тот слепой.

— Да, один только Филя, — вздохнул Калашников. — Ему, почитай, теперь годов семьдесят; один глаз немцы-колонисты выкололи, а другим плохо видит. Бельмо. Прежде, бывало, завидит его становой и кричит: "Эй, ты, Шамиль!" и все мужики так — Шамиль да Шамиль, а теперь другого и звания ему нет, как кривой Филя. А молодчина был человек! С покойным Андреем Григорьичем, с Любашиным отцом, забрались раз ночью под Рожново, — а там конные полки в ту пору стояли, — и угнали девять солдатских лошадей, самых каких получше, и часовых не испугались, и утром же цыгану Афоньке всех лошадей за двадцать целковых продали. Да! А нынешний норовит угнать коня у пьяного или сонного, да бога не побоится и с пьяного еще сапоги стащит, а потом жметесь, едет с той лошастью верст за двести и потом торгуется на базаре, торгуется, как жид, пока его урядник не заберет, дурака. Не гулянье, а одна срамота! Плевый народишко, что говорить.

— А Мерик? — спросила Любка.

— Мерик не наш, — сказал Калашников. — Он харьковский, из Мижирича. А что молодчина, это верно, грех пожалиться, хороший человек.

Любка лукаво и радостно поглядела на Мерика и сказала:

— Да, недаром его добрые люди в проруби купали.

— Как так? — спросил фельдшер.

— А так... — сказал Мерик и усмехнулся. — Угнал Филя у самойловских арендаторов трех лошадей, а они на меня подумали. Их всех арендаторов в Самойловке человек десять, а с работниками и тридцать наберется, и всё молоканы... Вот один и говорит мне на базаре: "Приходи, Мерик, поглядеть, мы с ярмарки новых лошадей пригнали". Мне, известно, любопытно, прихожу до них, а они, сколько их было, человек тридцать, скрутили мне назад руки и повели на реку. Мы, говорят, тебе покажем лошадей. Прорубь одна была уже готовая, они рядом, этак на сажень, другую прорубили. Потом, значит, взяли веревку и надели мне под мышки петлю, а к другому концу привязали кривую палку, чтоб, значит, сквозь обе проруби доставала. Ну, просунули палку и потянули. Я, как

был, в шубе и в сапогах — бултых в прорубь! а они стоят и меня попихивают, кто ногой, а кто колуном, потом потащили под лед и вытащили в другую прорубь.

Любка вздрогнула и вся сжалась.

— Сначала меня от холода в жар бросило, — продолжал Мерик, — а когда вытащили наружу, не было никакой возможности, лег я на снег, а молоканы стоят около и бьют палками по коленкам и локтям. Больно, страсть! Побили и ушли... А на мне всё мерзнет, одежда обледенела, встал я, и нет мочи. Спасибо, ехала баба, подвезла.

Между тем фельдшер выпил рюмок пять или шесть; на душе у него посветлело и захотелось тоже рассказать что-нибудь необыкновенное, чудесное, и показать, что он тоже молодец и ничего не боится.

— А вот как у нас в Пензенской губернии... -начал было он.

Оттого, что он много пил и посоловел, и, быть может, оттого, что он раза два был уличен во лжи, мужики не обращали на него никакого внимания и даже перестали отвечать на его вопросы. Мало того, в его присутствии они пустились в такие откровенности, что ему становилось жутко и холодно, а это значило, что они его не замечали.

Манеры у Калашникова были солидные, как у человека степенного и рассудительного, говорил он обстоятельно, а зевая, всякий раз крестил себе рот, и никто бы не мог подумать, что это вор, бессердечный вор, обирающий бедняков, который уже раза два сидел в остроге, и общество уже составило приговор о том, чтобы сослать его в Сибирь, да откупились отец и дядя, такие же воры и негодяи, как он сам. Мерик же держал себя хватом. Он видел, что Любка и Калашников любят его, и сам считал себя молодцом, и то подбоченивался, то выпячивал вперед грудь, то вытягивался так, что трещала скамья...

После ужина Калашников, не вставая, помолился на образ и пожал руку Мерику; тот тоже помолился и пожал руку Калашникову. Любка убрала ужин и насыпала на стол мятных пряников, каленых орехов, тыквенных семечек и поставила две бутылки со сладким вином.

— Царство небесное, вечный покой Андрею Григорьичу, — говорил Калашников, чокаясь с Мериком. — Когда он был жив, соберемся мы здесь, бывало, или у брата Мартына и — боже мой, боже мой! — какие люди, какие разговоры! Замечательные разговоры! Тут и Мартын, и Филя, и Стукотей Федор... Всё благородно, сообразно... А как гуляли! Так гуляли, так гуляли!

Любка вышла и немного погодя вернулась в зеленом платочке и в бусах.

— Мерик, погляди, что мне сегодня Калашников привез! — сказала она.

Она погляделась в зеркало и несколько раз мотнула головой, чтобы зазвучали бусы. А потом открыла сундук и стала вынимать оттуда то ситцевое платье с красными и голубыми глазочками, то другое — красное, с оборками, которое шуршало и шелестело, как бумага, то новый платок, синий, с радужным отливом — и всё это она показывала и, смеясь, всплескивала руками, как будто изумлялась, что у нее такие сокровища.

Калашников настроил балалайку и заиграл, и фельдшер никак не мог понять, какую он песню играет, веселую или грустную, потому что было то очень грустно, даже плакать хотелось, то становилось весело. Мерик вдруг вскочил и затопал на одном месте каблуками, а затем, растопырив руки, прошелся на одних каблуках от стола к печке, от печки к сундуку, потом привскочил, как ужаленный, щелкнул в воздухе подковками и пошел валять вприсядку. Любка взмахнула обеими руками, отчаянно взвизгнула и пошла за ним; сначала она прошла боком-боком, ехидно, точно желая подкрасться к кому-то и ударить сзади, застучала дробно пятками, как Мерик каблуками, потом закружилась

волчком и присела, и ее красное платье раздулось в колокол; злобно глядя на нее и оскалив зубы, понесся к ней вприсядку Мерик, желая уничтожить ее своими страшными ногами, а она вскочила, закинула назад голову и, взмахивая руками, как большая птица крыльями, едва касаясь пола, поплыла по комнате...

"Ах, что за огонь-девка! — думал фельдшер, садясь на сундук и отсюда глядя на танцы. — Что за жар! Отдай всё да и мало..."

И он жалел: зачем он фельдшер, а не простой мужик? Зачем на нем пиджак и цепочка с позолоченным ключиком, а не синяя рубаха с веревочным пояском? Тогда бы он мог смело петь, плясать, пить, обхватывать обеими руками Любку, как это делал Мерик...

От резкого стука, крика и гиканья в шкапу звенела посуда, на свечке прыгал огонь.

Порвалась нитка, и бусы рассыпались по всему полу, свалился с головы зеленый платок, и вместо Любки мелькало только одно красное облако, да сверкали темные глаза, а у Мерика, того и гляди, сейчас оторвутся руки и ноги.

Но вот Мерик стукнул в последний раз ногами и стал, как вкопанный... Замучившись, еле дыша, Любка склонилась к нему на грудь и прижалась, как к столбу, а он обнял ее и, глядя ей в глаза, сказал нежно и ласково, как бы шутя:

— Ужо узнаю, где у твоей старухи деньги спрятаны, убью ее, а тебе горлышко ножичком перережу, а после того зажгу постоянный двор... Люди будут думать, что вы от пожара пропали, а я с вашими деньгами пойду в Кубань, буду там табуны гонять, овец заведу...

Любка ничего не ответила, а только виновато поглядела на него и спросила:

— Мерик, а хорошо в Кубани?

Он ничего не сказал, а пошел к сундуку, сел и задумался; вероятно, стал мечтать о Кубани.

— Время мне ехать, иначе, — сказал Калашников, поднимаясь. — Должно, Филя уж дожидается. Прощай, Люба!

Фельдшер вышел на двор поглядеть: как бы не уехал Калашников на его лошади. Метель всё еще продолжалась. Белые облака, цепляясь своими длинными хвостами за бурьян и кусты, носились по двору, а по ту сторону забора, в поле, великаны в белых саванах с широкими рукавами кружились и падали, и опять поднимались, чтобы махать руками и драться. А ветер-то, ветер! Голые березки и вишни, не вынося его грубых ласок, низко гнулись к земле и плакали: "Боже, за какой грех ты прикрепил нас к земле и не пускаешь на волю?"

— Тпррр! — строго сказал Калашников и сел на свою лошадь; одна половинка ворот была отворена, и около нее навалило высокий сугроб. — Ну, поехала, что ли! — прикрикнул Калашников. Малорослая, коротконогая лошадедка его пошла, завязла по самый живот в сугробе. Калашников побелел от снега и скоро вместе со своею лошадью исчез за воротами.

Когда фельдшер вернулся в комнату, Любка ползала по полу и собирала бусы. Мерика не было.

"Славная девка! — думал фельдшер, ложась на скамью и кладя под голову полушубок. — Ах, если б Мерика тут не было!"

Любка раздражала его, ползая по полу около скамьи, и он подумал, что если бы здесь не было Мерика, то он непременно вот встал бы и обнял ее, а что дальше, там было бы видно. Правда, она еще девушка, но едва ли честная; да хотя бы и честная - стоит ли церемониться в разбойничьем вертепе? Любка собрала бусы и вышла. Свечка догорала, и огонь уж захватил бумажку в подсвечнике. Фельдшер положил возле себя револьвер и

спички и потушил свечу. Лампадка сильно мигала, так что было больно глазам, и пятна прыгали по потолку, по полу, по шкапу, и среди них мерещилась Любка, крепкая, полногрудая: то вертится волчком, то замучилась пляской и тяжело дышит...

"Ах, если б Мерика унесли нечистые!" — думал он.

Лампадка в последний раз мигнула, затрещала и потухла. Кто-то, должно быть Мерик, вошел в комнату и сел на скамью. Он потянул из трубки, и на мгновение осветилась смуглая щека с черным пятнышком. От противного табачного дыма у фельдшера зачесалось в горле.

— Да и поганый же у тебя табак, — будь он проклят! — сказал фельдшер. — Даже тошно.

— Я табак с овсяным цветом мешаю, — ответил Мерик, помолчав. — Грудям легче.

Он покурил, поплевал и опять ушел. Прошло с полчаса, и в сенях вдруг блеснул свет; показался Мерик в полушубке и в шапке, потом Любка со свечой в руках.

— Останься, Мерик! — сказала Любка умоляющим голосом.

— Нет, Люба. Не держи.

— Послушай меня, Мерик, — сказала Любка, и голос ее стал нежен и мягок. — Я знаю, ты разыщешь у мамки деньги, загубишь и ее, и меня, и пойдешь на Кубань любить других девушек, но бог с тобой. Я тебя об одном прошу, сердце: останься!

— Нет, гулять желаю... — сказал Мерик, подпоясываясь.

— И гулять тебе не на чем... Ведь ты пешком пришел, на чем ты поедешь?

Мерик нагнулся к Любке и шепнул ей что-то на ухо; она поглядела на дверь и засмеялась сквозь слезы.

— А он спит, сатана надутая... — сказала она.

Мерик обнял ее, крепко поцеловал и вышел наружу. Фельдшер сунул револьвер в карман, быстро вскочил и побежал за ним.

— Пусти с дороги! — сказал он Любке, которая в сенях быстро заперла дверь на засов и остановилась на пороге. — Пусти! Что стала?

— Зачем тебе туда?

— На лошадь поглядеть.

Любка посмотрела на него снизу вверх лукаво и ласково.

— Что на нее глядеть? Ты на меня погляди... — сказала она, потом нагнулась и дотронулась пальцем до золоченого ключика, висевшего на его цепочке.

— Пусти, а то он уедет на моей лошади! — сказал фельдшер. — Пусти, чёрт! — крикнул он и, ударив ее со злобой по плечу, изо всей силы навалился грудью, чтобы оттолкнуть ее от двери, но она крепко уцепилась за засов и была точно железная. — Пусти! — крикнул он, замучившись. — Уедет, говорю!

— Где ему? Не уедет.

Она, тяжело дыша и поглаживая плечо, которое болело, опять поглядела на него снизу вверх, покраснела и засмеялась.

— Не уходи, сердце... — сказала она. — Мне одной скучно.

Фельдшер поглядел ей в глаза, подумал и обнял ее, она не противилась.

— Ну, не балуй, пусти! — попросил он.

Она молчала.

— А я слышал, — сказал он, — как ты сейчас говорила Мерику, что его любишь.

— Мало ли... Кого я люблю, про то моя думка знает.

Она опять дотронулась пальцем до ключика и сказала тихо:

— Дай мне это...

Фельдшер отцепил ключик и отдал ей. Она вдруг вытянула шею, прислушалась и сделала серьезное лицо, и взгляд ее показался фельдшеру холодным и лукавым; он вспомнил про коня и уже легко отстранил ее и выбежал на двор. Под навесом мерно и лениво хрюкала засыпавшая свинья и стучала рогом корова... Фельдшер зажег спичку и увидел и свинью, и корову, и собак, которые со всех сторон бросились к нему на огонь, но лошади и след простыл. Крича и махая руками на собак, спотыкаясь о сугробы и увязая в снегу, он выбежал за ворота и стал вглядываться в потемки. Он напрягал зрение и видел только, как летал снег и как снежинки явственно складывались в разные фигуры: то выглянет из потемок белая смеющаяся рожа мертвеца, то проскачет белый конь, а на нем амазонка в кисейном платье, то пролетит над головою вереница белых лебедей... Дрожа от гнева и холода, не зная, что делать, фельдшер выстрелил из револьвера в собак и не попал ни в одну, потом бросился назад в дом.

Когда он входил в сени, то ему ясно послышалось, как кто-то шмыгнул из комнаты и стукнул дверью. В комнате было темно; фельдшер толкнулся в дверь — заперта; тогда, зажигая спичку за спичкой, он бросился назад в сени, оттуда в кухню, из кухни в маленькую комнату, где все стены были увешаны юбками и платьями и пахло васильками и укропом, и в углу около печи стояла чья-то кровать с целою горою подушек; тут, должно быть, жила старуха, Любкина мать; отсюда прошел он в другую комнату, тоже маленькую, и здесь увидел Любку. Она лежала на сундуке, укрытая пестрым стеганым одеялом, сшитым из ситцевых лоскутиков, и представлялась спящею. Над ее изголовьем горела лампадка.

— Где моя лошадь? — строго спросил фельдшер. Любка не шевелилась.

— Где моя лошадь, я тебя спрашиваю? — повторил фельдшер еще строже и сорвал с нее одеяло. — Я тебя спрашиваю, чертовка! — крикнул он.

Она вскочила, стала на колени и, одной рукой придерживая сорочку, а другой стараясь ухватить одеяло, прижалась к стене... Глядела она на фельдшера с отвращением, со страхом, и глаза у нее, как у пойманного зверя, лукаво следили за малейшим его движением.

— Говори, где лошадь, а то я из тебя душу вышибу! — крикнул фельдшер.

— Отойди, поганый! — сказала она хриплым голосом.

Фельдшер схватил ее за сорочку около шеи и рванул; и тут же не выдержал и изо всех сил обнял девку. А она, шипя от злости, заскользила в его объятиях и, высвободив одну руку — другая запуталась в порванной сорочке — ударила его кулаком по темени.

В голове у него помутилось от боли, в ушах зазвенело и застучало, он попятился назад и в это время получил другой удар, но уже по виску. Пошатываясь и хватаясь за косяки, чтобы не упасть, он пробрался в комнату, где лежали его вещи, и лег на скамью, потом, полежав немного, вынул из кармана коробку со спичками и стал жечь спичку за спичкой, без всякой надобности: зажжет, дунет и бросит под стол — и так, пока не вышли все спички.

Между тем за окном стал синеть воздух, заголосили петухи, а голова всё болела и в ушах был такой шум, как будто Ергунов сидел под железнодорожным мостом и слушал, как над головой его проходит поезд. Кое-как он надел полушубок и шапку; седла и узла с покупками он не нашел, сумка была пуста: недаром кто-то шмыгнул из комнаты, когда он давеча входил со двора.

Он взял в кухне кочергу, чтобы оборониться от собак, и вышел на двор, оставив дверь настежь. Метель уж улеглась, и на дворе было тихо... Когда он вышел за ворота, белое поле представлялось мертвым и ни одной птицы не было на утреннем небе. По обе стороны



дороги и далеко вдали синел мелкий лес.

Фельдшер стал было думать о том, как встретят его в больнице и что скажет ему доктор; нужно было непременно думать об этом и приготовить заранее ответы на вопросы, но мысли эти расплывались и уходили прочь. Он шел и думал только о Любке, о мужиках, с которыми провел ночь; вспоминал он о том, как Любка, ударив его во второй раз, нагнулась к полу за одеялом и как упала ее распустившаяся коса на пол. У него путалось в голове, и он думал: к чему на этом свете доктора, фельдшера, купцы, писаря, мужики, а не просто вольные люди? Есть же ведь вольные птицы, вольные звери, вольный Мерик, и никого они не боятся, и никто им не нужен! И кто это выдумал, кто сказал, что вставать нужно утром, обедать в полдень, ложиться вечером, что доктор старше фельдшера, что надо жить в комнате и можно любить только жену свою? А почему бы не наоборот: обедать бы ночью, а спать днем? Ах, вскочить бы на лошадь, не спрашивая, чья она, носиться бы чёртом вперегонку с ветром, по полям, лесам и оврагам, любить бы девушек, смеяться бы над всеми людьми...

Фельдшер бросил кочергу в снег, припал лбом к белому холодному стволу березы и задумался, и его серая, однообразная жизнь, его жалованье, подчиненность, аптека, вечная возня с банками и мушками казались ему презренными, тошными.

— Кто говорит, что гулять грех? — спрашивал он себя с досадой. — А вот которые говорят это, те никогда не жили на воле, как Мерик или Калашников, и не любили Любки; они всю свою жизнь побирались, жили без всякого удовольствия и любили только своих жен, похожих на лягушек.

И про себя он теперь думал так, что если сам он до сих пор не стал вором, мошенником или даже разбойником, то потому только, что не умеет или не встречал еще подходящего случая.

Прошло года полтора. Как-то весною, после Святой, фельдшер, давно уже уволенный из больницы и ходивший без места, поздно вечером вышел в Репине из трактира и побрел по улице без всякой цели.

Вышел он в поле. Там пахло весною и дул теплый, ласковый ветерок. Тихая, звездная ночь глядела с неба на землю. Боже мой, как глубоко небо и как неизмеримо широко раскинулось оно над миром! Хорошо создан мир, только зачем и с какой стати, думал фельдшер, люди делят друг друга на трезвых и пьяных, служащих и уволенных и пр.? Почему трезвый и сытый покойно спит у себя дома, а пьяный и голодный должен бродить по полю, не зная приюта? Почему кто не служит и не получает жалованья, тот непременно должен быть голоден, раздет, не обут? Кто это выдумал? Почему же птицы и лесные звери не служат и не получают жалованья, а живут в свое удовольствие?

Вдали на небе, распахнувшись над горизонтом, дрожало красивое багровое зарево. Фельдшер стоял и долго глядел на него и всё думал: почему если он вчера унес чужой самовар и прогулял его в кабаке, то это грех? Почему?

Мимо по дороге проехали две телеги: в одной спала баба, в другой сидел старик без шапки...

— Дед, где это горит? — спросил фельдшер.

— Двор Андрея Чирикова... — ответил старик.

И вспомнил фельдшер, что случилось с ним года полтора назад, зимою, в этом самом дворе, и как хвастал Мерик; и вообразил он, как горят резанные старуха и Любка, и позавидовал Мерику. И когда шел опять в трактир, то, глядя на дома богатых кабатчиков, прасолов и кузнецов, соображал: хорошо бы ночью забраться к кому побогаче!